



ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

ЮРИЙ ОКУНЕВ



ЮРИЙ ОКУНЕВ

**ОБРАТНАЯ
ПЕРСПЕКТИВА**

БОСТОН • 2021 • BOSTON

Юрий Окунев Обратная перспектива

Yuri Okunev Reversed Perspective
(Obratnaya Perspektiva)

Copyright © 2021 by Yuri Okunev

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the written permission of the copyright holder(s).

ISBN 978–1950319480

Library of Congress Control Number: 2021937776

Published by M•Graphics | Boston, MA

☐ www.mgraphics-books.com

✉ mgraphics.books@gmail.com

In collaboration with Bagriy & Company | Chicago, IL

☐ www.bagriycompany.com

✉ printbookru@gmail.com

Edited by Yulia Tymoshenko

Book Design and Layout by Yulia Tymoshenko

Cover Design by Larisa Studinskaya

Artworks by Ella Shaikind

При подготовке издания использован модуль расстановки переносов русского языка batov's hyphenator™ (www.batov.ru)

Printed in the United States of America

Содержание

От автора 8

Кенотаф	11
Пролог	13
Советское шампанское	16
Новый год	22
Лион Фейхтвангер	32
Серго Орджоникидзе	40
Красноярск — Ленинград	45
Дом на набережной	50
Ленинград — Красноярск	62
Санаторий имени Горького	64
Ленинград — Москва	74
Райком партии	76
Нет шансов	84
Большой дом	90
Первое письмо в никуда	109
Не положено	115
АЛЖИР	122
Енисейзолото	132
Левочка	142
Вилен	156
Последнее письмо в никуда	171
Северо-Енисейск	177
Любавичи	189
Тридцатилетие Великого Октября	198
Ванечка	209
Расправа с интернационалом	223
Эпилог	238

Мелодии юности	243
---------------------------------	-----

Дело шестнадцати	277
-----------------------------------	-----

Предуведомление	281
---------------------------	-----

Исторический фон.	283
---------------------------	-----

Скотопригоньевск	287
----------------------------	-----

Шабашники.	296
--------------------	-----

Фабрикация «Дела»	308
-----------------------------	-----

Куликовщина	330
-----------------------	-----

Пу-джа-ми-ка-гав-щина.	350
--------------------------------	-----

Монолог о милосердии	376
--------------------------------	-----

Послесловие	387
-----------------------	-----

История не учительница,
а надзирательница: она ничему
не учит, а только наказывает
за незнание уроков.

Василий Ключевский, историк

Старушке Истории ничего другого
не остаётся, как выносить свои
суровые приговоры нашими устами,
нашими перьями.

Игорь Ефимов, писатель

От автора

Название этого сборника повестей относит читателя к понятию Обратной перспективы.

В живописи это понятие означает изображение удалённого от зрителя предмета в увеличенном масштабе — чем дальше предмет изображения находится от зрителя, тем больше он в размере.

В литературе обратная перспектива указывает на обострённый интерес произведения к деталям событий прошлого, в которых, на самом деле, таится объяснение многих явлений настоящего, равно как и предостережение для будущего. Поэтому чем дальше в прошлое мы обращаем свой взгляд, тем тщательнее и глубже следует проникнуть в истинный смысл и назидательную суть событий того далёкого времени. В этом, на наш взгляд, концептуальная особенность литературной обратной перспективы, предпочитающей в отношении прошлого мужественный выбор ведения в противовес трусливому выбору неведения.

О сути такого выбора в широком историческом плане выразительно писал в своей «Метаполитике» выдающийся писатель и философ Игорь Ефимов:

«Дар разумного сознания, присущий каждой человеческой воле, можно уподобить прожектору, созданному для того, чтобы освещать окружающий мир во времени и в пространстве. Свобода воли ни в чём не может быть реализована с большей полнотой, нежели в обращении с этим даром. Выбор состоит в том, чтобы либо направлять луч прожектора осторожно, избирательно, избегая освещать всё пугающее, укоряющее, тягостное, отталкивающее, опасное, — это выбор неведения; или, напротив, посылать окрест себя ровный и ясный свет, не ослабляя его и не отводя даже от самых грозных и мучительных картин, — это мужественный выбор ведения».

Почему три предлагаемых читателям повести объединены под общим названием «Обратная перспектива»? Ведь эти повести даже в жанровом плане совершенно разнородны...

«Кенотаф» — повесть о жизни двух русско-еврейских семей во времена страшного и кровавого двадцатилетия истории России с середины 1930-х по середину 1950-х годов. Трагические судьбы героев повести вскрывают преступную сущность диктаторского режима — это литературный мартиролог его жертв.

«Мелодии юности» — повесть о юношеской любви на фоне жизни студенческой молодёжи во времена так называемой «оттепели» советского режима конца 1950-х и 1960-х годов. Удивительным следствием любовной драмы главного героя повести стал его творческий прорыв в науке, совпавший по времени с «бурей и натиском» самобытных шестидесятых годов. Лирический сюжет повести выделяет светлым лучом этот короткий период советской истории между большим террором 30–50-х и мракобесным застоём 70-х — начала 80-х.

«Дело шестнадцати» — остросюжетная документальная повесть с подлинными фактами, документами и показаниями свидетелей из советской жизни времён застоя и деградации в начале 1980-х годов.

Как видно, эти три повести охватывают три весьма сложных и отнюдь не однозначных периода в истории России XX века: террор-война, оттепель — творческий взлёт, застой-деградация. Сюжетные линии во всех трёх произведениях представлены с максимальной степенью правдивости, доступной лучу того прожектора ведения, которым располагал автор. В этом, наверное, главный мотив отнесения всех трёх повестей к произведениям обратной перспективы.

В повестях есть и немало других общих черт.

Главным местом действия в них является Ленинград, а вымышленные и подлинные сюжетные линии и события перемежаются размышлениями об исторических реалиях, которые эти события сопровождают и подчас вызывают. Такое сочетание художественной литературы и публицистики способствует обострённому восприятию знаменитого предупреждения историка Василия Ключевского в вышеприведённом эпиграфе.

Повести расположены в хронологическом порядке описанных в них событий и в порядке, обратном времени их создания.

Повесть «Дело шестнадцати» была составлена коллективом авторов в Ленинграде ещё в советские времена в 1987 году, а впервые опубликована в 2002 году в Санкт-Петербурге. Приведённый в этом сборнике вариант сильно отличается от изданного ранее:

текст сокращён, добавлены новые стихотворения того же автора, увеличено число фотографий.

Повесть «Мелодии юности» напечатана впервые в журнале Слово/Word, № 87, в Нью-Йорке в 2015 году и приводится здесь практически без изменений.

Повесть «Кенотаф» опубликована впервые отдельной книгой в 2021 году в издательстве «Алетейа» в Санкт-Петербурге. В приведённом здесь варианте несколько изменён текст и использованы оригинальные иллюстрации.

КЕНОТАФ

Повесть-мартиролог

Посвящается
моим родственникам,
убитым во времена,

«...когда улыбался
Только мёртвый, спокойствию рад.
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград».

Пролог

Туман серовато-белыми клочьями обволакивал верхушки деревьев и спускался ещё ниже — к надгробьям. Было пустынно и зябко — ранняя ленинградская осень на спаде золотого листопада. Мертвенную тишину кладбища иногда нарушали резкие крики ворон. Ольга подумала: *«Наверное, это было бы таинственно красиво в другом месте...»*

Она выехала в Ленинград из Волхова ещё затемно, первой электричкой, потом добиралась сюда на Богословское кладбище трамваями, чтобы проверить, как поставили памятник. После освобождения из концлагеря ей жить в Ленинграде и других больших городах не полагалось, только за сто первым километром разрешалось. Каждая поездка в Ленинград была рискованной, Ольга старалась избегать людей в погонах, чтобы не попасться... Великий вождь умер, АЛЖИР, в котором она провела зэком почти пятнадцать лет, ликвидировали, а страх остался.

Когда вернулась из Казахстана в родной Ленинград, пошла сразу на улицу Ракова, дом 21, но в квартиру, где жила когда-то с мужем и сыном, войти побоялась, да и сердце не позволило — забилось, загрудинной болью отозвалось на вспышку памяти. По лестнице, по которой когда-то взбегала мигом на третий этаж, поднялась с трудом, задохнулась... Подошла к такой знакомой двери, к поставленной, морщинистой и обшарпанной двери в её бывшее счастье, к такой когда-то ухоженной и уважаемой двери. Подумала, что дверь эта тоже пережила немало — войну, блокаду, разруху... Позвонить не решилась — что сказать, если откроют, да и поймут ли. Она привыкла — редко кто понимает... Ушла с мокрыми глазами, тяжело опираясь на перила.

После той закрытой в прошлую жизнь двери Ольга легко смирилась с пребыванием в Волхове. У неё не осталось в Ленинграде ни одного родственника — все погибли в блокаду. Были ещё выжившие родственники по линии мужа, но она знала: они давно,

с предвоенных ещё времён, постарались забыть то, что случилось с мужем, стёрли его даже из своей памяти — будто и не было ничего такого... У неё не осталось друзей — собственная жизнь бывших коллег по университету и сотрудников мужа была им дороже дружбы. Как и всем, впрочем... Только одна Фаина, с которой учились ещё в аспирантуре университета, приняла Ольгу, разрешила пожить у себя. Она и посоветовала поехать в Волхов, где открывали какой-то техникум и нуждались в преподавателях русского языка и литературы. Ольга была филологом, училась у самого профессора Жирмунского, защитила в 1936-м диссертацию по германским диалектам. Преподавателем в волховский техникум её, конечно, не взяли, но предложили работу в местной прачечной, правда, с общежитием — она согласилась.

Идею поставить памятник Семёну высказала тоже Фаина, она же одолжила Ольге деньги. Муж Фаины был кардиологом, у него лечился директор Богословского кладбища. Без помощи директора ничего бы Ольга не сделала... Директор нашёл хорошее место — Медицинский некрополь. Ольга заказала на то место стелу из тёмного гранита и попросила написать даты рождения и смерти мужа: (1899–1937). Директор кладбища возразил:

— Тридцать седьмой год — плохая, неудобная дата смерти... Что вам сказали о муже там? — Он поднял указательный палец вверх.

— Там сказали, что муж скончался в 46-м году от рака.

— Вот так и напишите — 1946, спокойнее будет, без вопросов...

В АЛЖИРе Ольгу приучили к бессловесному повиновению — эта власть вечна, возражать ей бессмысленно и смертельно опасно. Она послушалась директора, переписала даты на (1899–1946), так и осталось навечно и... концы в воду.

Ольге понравилось, как сделали могилу мужа. Металлическая ограда окружала небольшой квадрат пространства с выразительной стелой и каменной скамеечкой под красивой берёзкой.

Туман, уже заполнивший всё вокруг, спускался на гранит стелы, отделяя от бесконечного пространства тиснёную надпись:

Доктор медицинских наук, профессор,
директор Всесоюзного НИИ гигиены труда
Семён Борисович Шерлинг
(1899–1946)

Ольга присела на скамейку прямо напротив стелы, и туман накрыл её, оградив от враждебного мира и оставив наедине с надписью на чёрном граните. Эта надпись была её последней и единственной связью с бесконечным пространством реального мира, где, кажется, не осталось ни одного близкого ей существа, ни одного...

Советское шампанское

28 июля 1936 года на заседании Политбюро при личном участии товарища Сталина было принято Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О производстве Советского шампанского», предусматривающее строительство заводов шампанских вин в нескольких городах страны. Товарищ Сталин разъяснил, что стахановцы сейчас зарабатывают много денег, много зарабатывают инженеры и другие трудящиеся. А если трудящиеся захотят шампанского, смогут ли они его достать? Шампанское — признак материального благополучия, признак зажиточности.

Уже больше года, как товарищ Сталин объявил советскому народу, что ему, народу, «жить стало лучше, жить стало веселее», и народ с энтузиазмом согласился поверить вождю. Семёну с Ольгой тоже стало и лучше, и веселее — к новому 1937 году у них на столе появилась бутылка Советского шампанского. Как директор Института гигиены труда, Семён по заданию Совнаркома консультировал главного шампаниста Советского Союза на Донском заводе шампанских вин, и тот в благодарность прислал Семёну первую экспериментальную бутылку.

Семён поначалу без энтузиазма принял назначение на должность директора всесоюзного института. Первым ему сообщил об этом назначении первый секретарь райкома партии Иван Игнатьевич — старый друг и наставник Семёна ещё с Гражданской войны. Потом был приём в Смольном у самого первого секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) товарища Жданова, который сменил убитого троцкистами Кирова. С Кировым Семён был знаком лично, а Жданова увидел впервые. Ореол вождя и сталинского любимца окружал Жданова, но Семёну он показался немолодым и уставшим, а по врачебному чутью ещё и не вполне здоровым человеком. Вождь поздравил Семёна с назначением и сказал, что ЦК ВКП(б) и лично товарищ Сталин ни на минуту не оставляют без внимания условия

труда советских людей, постоянно заботятся о здоровье и гигиене трудящихся. Партия возлагает большие надежды на вновь созданный в Ленинграде Всесоюзный институт гигиены труда, партия оказывает ему, Семёну Борисовичу Шерлингу, исключительное доверие и поручает возглавить этот институт. Семёна несколько смутила помпезность процедуры назначения, которого он совсем не ожидал и, честно говоря, не очень-то и хотел... Его вполне устраивала должность профессора Военно-медицинской академии Красной армии имени С. М. Кирова, бывшей Императорской академии, профессора которой в царские времена приравнивались в чине к тайному советнику. О чём ещё мог мечтать еврейский парень из бывшей черты оседлости, сын грузчика с дровяного склада в провинциальном городе Витебске? Доктор медицинских наук, признанный одним из ведущих гигиенистов в стране, Семён любил свою работу — лекции, научные исследования, руководство аспирантами.

— Директорская работа — не моё это, не моё... — говорил он Ольге, когда вызвали в Смольный, но она не согласилась.

— Партия считает, что ты перерос профессорскую должность, тебе предлагают совершенно новый горизонт. В своём институте ты получишь несравнимые с кафедрой возможности. Тебя оценили на самом верху, вот и радуйся, и дерзай!

Перед приёмом в Смольном Семён позвонил Ивану Игнатьевичу:

— Признавайся, Иван, — твоя работа?

— Это не моя, а твоя, Семён, работа! Рекомендации рекомендациями, а решение принято на самом верху, поверь мне, по совокупности сведений о твоей партийной личности и твоих научных результатах. По оценке твоей работы, короче... Ты, дружище, не дури — решения партии не обсуждаются, а выполняются. Ты, Семён, жену больше слушайся — она умнее тебя.

Выйдя из Смольного уже затемно, Семён сказал своему шофёру Николаю, что хочет подышать воздухом, и пошёл домой пешком по длинной улице Воинова. Хотелось обдумать случившееся с ним в этой жизни, понять истоки такого грандиозного поворота судьбы. В этом повороте ему виделось что-то призрачное, нереальное, чудилось некое фантастическое создание мечты. Что это — необыкновенное стечение обстоятельств или неизбежный объективный процесс социалистического преобразова-

ния общества? У Таврического дворца Семён остановился, долго смотрел на его величественную колоннаду. Всего семнадцать лет назад ему, еврейскому парню из черты оседлости, не позволялось даже приближаться к этому городу — столице великой империи, а ныне... Его личный шофёр, в обязанности которого органы госбезопасности вменили охранять новоиспечённого директора института, медленно ехал за ним по противоположной стороне улицы. Фантазмагория какая-то, — кажется, это так называется...

* * *

Семён вдруг вспомнил лицо своего седобородого отца в тот день, когда сказал ему, что записался в красноармейцы. Отец не осуждал и не отговаривал его, он смотрел на сына с грустным непониманием, а потом протянул ему деньги на дорогу и ушёл. Семён никогда больше не видел его...

Отца звали Бенцион, у него была неплохая по тем временам зарплата — витебский лесопромышленник Левинсон не обижал своих работников. Но дети росли и расходы росли — жизнь была нелёгкой. Большая семья отца жила в деревянном флигеле при складе, включавшем три комнатухи, из которых две были проходными. Непроходная комната была спальней родителей и совсем маленьких детей, а в двух проходных комнатах протекала вся жизнь семьи — здесь и еду готовили, и бельё стирали, и детей мыли, и субботние свечи зажигали, здесь же спали взрослые дети. Семён был девятым, предпоследним выжившим ребёнком Бенциона. Когда родился младший брат Семёна Лейба, в квартирке обитала целая дюжина человек, тесновато было...

Как это принято у евреев с древнейших времён, в семье Бенциона поощрялось стремление к знаниям и образованию, несмотря на денежные затруднения. Все дети ходили в приходскую школу, потом в гимназию или ремесленное училище, зарабатывали себе деньги на образование — кто репетиторством в богатых домах, а кто и на разгрузке барж на пристани. Все старались выбиться из нищенского быта, потом начали разъезжаться из Витебска в поисках лучшей судьбы.

Исключением был самый старший брат Семёна Исай — как только он достиг возраста бар-мицвы, то есть 13 лет, отец устроил его работать подручным на дровяной склад. С несколькими классами приходской школы способный Исай со временем был назначен

на должность управляющего всего огромного лесопромышленного хозяйства губернии — работа на дровяном складе была его университетами. Из своего раннего детства Семён запомнил роскошный дом Исаея на Задуновской улице, запомнил, как поразило его детское воображение красивое шоколадного цвета пианино в большой гостиной у окна с золотистыми порттьерами — он такую роскошь видел впервые в жизни. А ещё запомнилась богатая свадьба Исаея, на которую были приглашены все родственники. Красавица-невеста в длинном блестящем свадебном платье и жених в чёрном костюме под белоснежной, искусно драпированной хупой.

Это было в 1905 году... В стране начиналась революция, предсказанная горьковским Буревестником: «Буря! Скоро грянет буря!» Волны той бури выбросят из жизни брата Исаея и вознесут его, Семёна...

Семён видел примеры революционного вознесения бывших бесправных и униженных жителей черты оседлости. Ему было 18 лет, когда витебский еврей Мовше Сегал был назначен самим наркомом Луначарским на должность губернского комиссара искусств. Семён с восторгом наблюдал, как этот сын грузчика из селёдочной лавки в косоворотке с кожаным портфелем под мышкой запросто входит к губернскому начальству в бывший губернаторский дворец. А потом на демонстрации в честь первой годовщины Октябрьской революции Семён с пением «Интернационала» маршировал вместе с рабочим классом Витебска мимо трибун, которые Мовше Сегал разрисовал огромным стадом зелёных коров и летящих по небу лошадей. Семён знал, что жена его старшего брата Исаея устроила Мовше учиться рисованию в школу Иегуды Пэна, но он представить себе не мог, что Мовше станет великим художником XX века Марком Шагалом.

Все братья Семёна, за исключением «обуржуазившегося» Исаея, не просто приняли три русские революции начала XX века, выпавшие на их молодость, а с восторгом и энтузиазмом ринулись в них. Царское самодержавие загнало евреев в угол и не оставило им никакого выбора, кроме революции или сионизма. В революции с идеями интернационала и бесклассового коммунистического общества многие евреи увидели выход из бесправия и унижения, долгожданный выход из тюремного подвала прежней жизни, прорыв к свету знаний, равенству и братству, воплощение тысячелетней мечты. Абстрактные библейские идеалы справедливости, которым их учили родители и учителя, внезапно были поставлены

в повестку текущего дня новыми пророками — атеистическими лидерами Российской социал-демократической рабочей партии. Детство и отрочество Семёна прошло в атмосфере бунтарского поиска новых путей, в крамольной обстановке разрыва со старым укладом жизни.

Судьбы братьев были для Семёна влекущими примерами молодого бунтарства и революционной крамолы. Брат Зиновий был всего на пять лет старше, но как много это значило в те бурные годы. После окончания ремесленного училища Зиновий уехал работать в Польшу, занялся политической агитацией среди студентов и рабочих. Дома он первым сказал: «Бога нет!» Семён поначалу не поверил ему:

— В Торе сказано, что мессия придёт спасти мир и дать счастье праведникам. Разве это не от Бога?

Брат подсел к нему и долго рассказывал, как раввины и попы обманывают людей:

— Религия — опиум для народа! Они тысячу лет обещают людям счастливую жизнь на небесах, а мы построим справедливое социалистическое общество без угнетения здесь на земле.

Семен тогда не смел возразить старшему брату, да и нечего было возразить — его собственная вера едва держалась на старых семейных традициях, которые уходят в прошлое. В 18 лет его брат Зиновий стал профессиональным революционером под именем Захар Гвиль, а в 22 года вступил в партию большевиков и после революции стал известным функционером новой власти. Феерическая партийная карьера старшего брата стала для Семёна судьбоносным вызовом и впечатляющим эталоном. Не меньшее влияние на большевистский выбор Семёна оказала судьба его младшего брата Лейбы, который был на четыре года моложе. В 15 лет Лейба стал одним из первых комсомольцев Витебска, активным, энергичным революционным вожаком, а в 16 лет он погиб в бою с белогвардейцами под Харьковом. В Витебске Лейбе устроили торжественные похороны как героя революции. Семён на всю жизнь запомнил море красных знамён и ружейные залпы на прощании с младшим братом-героем! После смерти Лейбы он записался в красноармейцы и вступил в партию большевиков — ему было 20 лет...

* * *

Семён сжал пальцами виски, резко провёл руками по лицу, словно сбросил опутавшие его нити памяти... Шестнадцать лет

прошло с тех лет боевой юности, а видится всё — словно было вчера. Он зашагал быстро вдоль ограды Таврического дворца — нужно смотреть только в будущее, партия поставила перед ним новые трудные задачи, и никто не подскажет, как их решать. Семён уже определил для себя главные направления работы института. Теперь нужно всё детализировать, подобрать исполнителей, с финансами разобраться. Виброакустические факторы на производстве — это, кажется, упустил... Он подал рукой знак шофёру, быстрым шагом перешёл пустынную улицу. Работать, работать...

МЕЛОДИИ ЮНОСТИ

Повесть о любви

Посвящается
моим друзьям и коллегам — творцам
«бури и натиска» шестидесятых годов
XX века.

Знаете, симпатия с первого взгляда многого стоит — она, как и любовь с первого взгляда, не бывает ни преходящей, ни банальной. Юрий Андреевич понравился мне сразу же, как только познакомились мы с ним в Транссибирском экспрессе, по дороге на Дальний Восток. Когда он представился именно так — по имени и отчеству, я, помнится, на американский манер назвал только своё имя Юрий — мол, дескать, тёзки мы, чего церемониться, но Юрий Андреевич моей американской простоты не принял, настоял называть меня по имени и отчеству и строго этого правила держался всю дорогу почти до Омска. Был он красив, высок, широкоплеч, с признаками надвигающейся полноты, но ещё статен, с густой, но совершенно седой шевелюрой, и очень чистым и гладким лицом, делавшим его возраст неопределённым. Это потом, из рукописи Юрия Андреевича, узнал я, что было ему уже сильно за шестьдесят. «Вы, Юрий Андреевич, стихи не пишете?» — пошутил я, намекая на совпадение его имени и отчества с главным героем пастернаковского романа. «Нет, я пишу очень прозаические вещи» — ответил он серьёзно и добавил с усмешкой — «Вы, москвичи, склонны видеть черты доктора Живаго в каждом интеллигентном петербуржце. Согласитесь, что Юрий Андреевич Живаго лишь по недоразумению стал москвичом, а на самом деле, он — типичный петербуржец из Башни Вячеслава Ив́анова». Поразительно точно угадал Ю.А. моё впечатление — я тогда действительно примерял его к образу пастернаковского героя, причём отнюдь не по одному лишь имени или внешности. Как это обычно бывает при знакомстве коренных москвича и петербуржца, поспорили мы и пошутили на тему, какая из двух столиц лучше.

Я-то сам действительно коренной москвич, окончил журфак МГУ, работал в редакции журнала «Музыкальная жизнь», сам сочинял и в публицистике, и в беллетристике... В начале 90-х меня пригласили преподавать русскую литературу в одном из американских университетов в Новой Англии, за мной потянулись взрослая дочь с мужем, я женился второй раз на коренной американке датского происхождения и окончательно осел в Америке. Всё это не имеет решительно никакого отношения к настоящей истории

и упоминается исключительно для того, чтобы объяснить, как я на склоне лет попал в Транссибирский экспресс. А дело было так. Моя жена, никогда не бывавшая в России, вдруг загорелась посмотреть эту страну, да к тому же — не просто посетить пару столичных городов, как все нормальные туристы делают, а проехать через всю Сибирь от Москвы до Владивостока на поезде. Я поначалу ужаснулся этому плану, вспомнив по своим многочисленным командировкам, какие в российских поездах «туалеты» и «рестораны», пытался отговорить её, но безуспешно. Тогда связался я с известной туристической фирмой и... был посрамлён — выяснилось, что существует ныне в России частный Транссибирский экспресс для комфортабельных путешествий иностранцев, что идёт он из Москвы до Владивостока две недели, что в нём двухместные купе-номера с туалетом и горячим душем, что в ресторане кухня пятизвездочного отеля, что в поезде есть два банкетных вагона-зала и спецвагон для сотрудников охраны, что на остановках гиды из местных интеллектуалов проводят уникальные экскурсии, а народные русские ансамбли и сибирские казаки развлекают заграничную публику песнями и плясками...

Так мы оказались в Транссибирском экспрессе и там познакомились с Юрием Андреевичем. Он один занимал соседнее купе и, по всему было видно, принадлежал к российской VIP элите. Мы тотчас подружились и много времени проводили вместе — и в ресторане поезда, и у окон вагона, и на остановках. Жена моя, конечно, не пропускала ни одной экскурсии, а в купе неотрывно глядела в окно, оживляясь и даже приподымаясь с дивана при каждом появлении какого-либо необычного пейзажа или населённого места в сплошной стене леса по обеим сторонам дороги. Ю.А. охотно давал ей пояснения на английском языке, которым владел не хуже меня. Мы же с ним безостановочно разговаривали, посматривая без особого интереса в окно на много раз виденное. Иногда же мы уходили в его купе, чтобы не отвлекать мою жену от созерцания и поговорить спокойно по-русски. Юрий Андреевич располагал к раздумчивой, откровенной беседе, и я с удовольствием, подробно рассказывал ему о работе в американском университете, о своих издательских делах и о своих книгах. Сам же он, как я вскоре заметил, очень скуп и даже неохотно рассказывал о себе, своей семье и, особенно, о своей работе. Памятуя это, я воздержусь излагать здесь даже то небольшое, что узнал о его частной жизни. Когда мы неожиданно, даже толком не попрощавшись, расстались, я подумал — как мало, в сущности, знаю об этом удивительном человеке. Он не оставил ни визитки, ни адреса, и исчез, как призрак чего-то несбыточного... Из его редких обмолвок я узнал только, что в советское время Ю.А. был то ли Главным, то ли Генеральным конструктором какого-то очень большого и очень секретного «почтового ящика» — НИИ или КБ — в Ленинграде, где-то на Васильевском острове, а теперь является

совладельцем и директором крупной радиоэлектронной фирмы в Питере. Он также занимал какую-то важную должность в Академии наук, но подробностей я так и не узнал...

Однажды я спросил, куда и зачем он едет. Ю.А. ответил очень лаконично — «Еду в Омск по личным делам» — и добавил, как бы сглаживая неловкость от своего явного нежелания развивать эту тему — «У меня в тех краях много памятного». Я не стал настаивать на подробностях. У нас оказалось много других общих тем, наши взгляды на многое, в первую очередь, в истории, искусстве и религии, совпадали поразительно. Но особенно близкими оказались наши вкусы и предпочтения в музыке — и в классической, и в раннем джазе, и в эстраде со времён Элвиса и Битлз... Как-то я упомянул о своём недавнем посещении джазового клуба Birdland в Манхэттене, где когда-то бывали Гарри Купер, Мэрилин Монро, Фрэнк Синатра, Марлен Дитрих, Ава Гарднер... Юрий Андреевич с внезапным интересом и даже с какой-то ревностью, как мне показалось, стал выспрашивать подробности. Проявив удивительное знание предмета, он интересовался, сохраняют ли в клубе память о Чарли Паркере, Джордже Ширинге и Диззи Гиллеспи... Реакция Ю. А. оказалась мне неожиданно романтической и даже сентиментальной, он вдруг ушёл в себя, как бы перестав слушать меня, а потом спросил невпопад: «Там ещё исполняют «Lullaby of Birdland»?» Я ответил, что не знаю, и мы больше не возвращались к этой теме. Интересно, что Ю.А. никогда не бывал в США, хотя объездил полмира. Ещё в советские времена был он, как говорили, «выездным», не раз посещал Францию, и теперь с увлечением рассказывал об этой стране, об Иве Монтане, Симоне Синьоре, Эдит Пиаф...

В ночь перед остановкой в Омске Юрий Андреевич исчез. Утром, уже при подъезде к Омску, проводница рассказала, что он сошёл на какой-то станции ещё затемно, что его встречали, и что он просил передать нам небольшой пакет. В пакете оказалась стопка бумаги с отпечатанным на компьютере текстом и небольшая записка от руки для меня:

«Прошу прощения за то, что ухожу по-английски — на мою станцию Москаленки поезд прибывает слишком рано, и я не хочу беспокоить Вас. Оставляю копию рукописи, благодаря которой Вы, надеюсь, поймёте и снисходительно оцените мотивы моей поездки — то личное, о котором не хотелось говорить, потому что в устном пересказе всё это звучало бы или слишком романтично и, может быть, даже пафосно, или, наоборот, неоправданно приземленно. Я сам никогда не опубликую эту историю, но, вместе с тем, не хотелось бы, чтобы она бесследно канула в Лету. Поэтому доверяю этот текст Вам, как профессиональному литератору, можете его опубликовать, если сочтёте интересным, без упоминания обо мне — литературное авторство меня не интересует... Жму руку, поклон Вашей милой супруге — Ю. А.»

Мы были весьма озадачены таким поворотом дела, тепло вспоминали Ю.А. всю оставшуюся дорогу и строили всевозможные теории его загадочного исчезновения. Вернувшись из поездки, я пытался найти Ю.А. через своих друзей в Санкт-Петербурге, но из этого ничего не получилось... В стопке отпечатанных листов из переданного мне пакета оказалась печальная любовная история на фоне очень эмоциональных размышлений и воспоминаний о жизни студенческой молодёжи 50-х годов. Рукопись не содержала имени автора и была озаглавлена «Лилия». Я публикую её под названием «Мелодии юности» с добавлением без согласования с автором одной фотографии и моих вставок о создателях и исполнителях мелодий, звучащих в повести Юрия Андреевича. Вот эта повесть...

* * *

Звуки музыки... Их странное воздействие — ошеломляющее и возвышающее, возбуждающее или, напротив, угнетающее — пытались объяснить и композиторы, и психологи, и поэты, и философы. И всё напрасно — какая-то глубокая, непостижимая тайна в музыке всё равно остаётся. Страстную юношескую любовь нередко сопровождает некая мелодия, навсегда с нею связанная, и это тоже одна из загадок музыки.

Считается, что технические изобретения и научные открытия, даже самые неожиданные и гениальные, являются неизбежными, ибо они отражают незыблемые законы природы. Если бы неизвестный древний изобретатель не придумал колесо, то раньше или позже люди всё равно сконструировали бы его — неодолимое стремление к быстрому передвижению однозначно вело к этому решению. Если бы Нильс Бор не предложил физическую модель атома, то это вскоре сделали бы другие — мощный поток новых знаний о природе микромира буквально выдавливал эту модель. В противоположность научным открытиям, произведения искусства, в первую очередь музыки, не подвержены этому закону неизбежности возникновения. Нужен был неповторимый гений Людвиг ван Бетховена, чтобы составить магическую музыкальную фразу начала Пятой симфонии — знаменитый Call to Attention. Не случись бетховенское озарение, никто и никогда не сочинил бы эту тревожную четырехнотную фразу, и через полтора века, во время Второй мировой войны, союзники не смогли бы использовать её в качестве позывных к своим антифашистским радиопередачам; они, конечно, нашли бы другие подходящие позывные, но не те — бетховенские.

Необязательные и неведомо как возникшие, звуки музыки приходят к нам путями неисповедимыми. Кажется невероятным, что мелодии юности настигли нас случайно. Неужели они не были предопределены? Мне иногда кажется, что мелодии моей юности, пришедшие вместе с первой и очень сильной юношеской любовью, не могли быть другими, что они были неизбежными. Та далёкая любовь давно уже ушла, растворилась в тумане времени, исчезла, как древний прекрасный город, под многочисленными пластами жизни, а мелодии, когда-то накрепко привязанные к ней, не развеялись, не затуманились, а, напротив, — оторвавшись от первоосновы, пробились сквозь все пласты жизни нетронутыми и живут, и волнуют, как прежде...

Это случилось в далёком 1957-м. Годом раньше населению Советского Союза, зомбированному жестокой сорокалетней диктатурой, впервые дали глоток правды, от которого оно начало приходить в сознание, как от нашатыря. Правда пришла с вершины партийного руководства — оказалось, что «вождь, отец и учитель», которому население поклонялось с неистовством религиозных фанатиков, являлся отнюдь не отцом и учителем, а злодеем и мракобесом. Вскоре после разоблачения сталинских преступлений народ Венгрии первым восстал против своих венгерских сталинистов, но советские войска подавили восстание. Население Советского Союза не заметило противоречия между осуждением сталинских преступлений и подавлением восстания против сталинизма — оно с трудом выползло из затянувшегося на десятилетия наркотического бреда. Я тоже не заметил этого противоречия, я в то время был, как все...

Тем не менее мы тогда пытались раскрыть засвеченные глаза и прочистить забитые враньём уши. Из-за океана донеслись до нас отзвуки неистовства американской молодёжи на концертах нашего сверстника, короля рок-н-ролла Элвиса Пресли — простого парня, водителя грузовика с берегов Миссисипи. Подпольная запись одной его песни на рентгеновских снимках (говорили — «на костях») стоила в Ленинграде половину месячной зарплаты инженера. Уже на подходе к нам была легендарная британская рок-группа Битлз из Ливерпуля. Эту лавину новой, по-существу народной, музыки XX века уже нельзя было остановить никакими партийными запретами. Помню, что на студенческих вечерах категорически запрещённый рок-н-ролл исполняли как-бы в форме пародии на «их нравы»: один из моих сокурсников стремительно выскакивал

на сцену вместе с изящной хорошенькой студенткой в короткой юбчонке, и они «отрывали» рок-н-ролл так, что весь зал стонал и ревел от восторга. Мы тогда пытались освежить свои мозги, промытые лживой пропагандой. Повесть Ильи Эренбурга «Оттепель», давшая имя целой эпохе, стала литературной сенсацией (бестселлером — как сказали бы сейчас), а роман Владимира Дудинцева «Не хлебом единым» казался чуть ли не политическим вызовом коммунистическому режиму, и его невозможно было достать. Сейчас, с высоты прошедших десятилетий, диву даёшься — до какой степени нужно было отлучить людей от правды, до чего нужно было замордовать и унижить интеллигенцию, чтобы та маленькая повесть и тот отнюдь не выдающийся роман, приоткрывшие микроскопическую щёлочку в сплошном потоке лжи, вызвали столь огромный общественный резонанс.

Короче говоря, была холодная хрущёвская оттепель, но мой рассказ не об этом...

Летом того необыкновенного года я окончил второй курс радиотехнического факультета, и весь наш поток вместо дальнейшего освоения науки отправили на «освоение целинных и залежных земель» в Омскую область, что в Южной Сибири на берегах Иртыша у границы с Казахстаном. Бредовая, но вполне советская идея — отправить тысячи ленинградских студентов за тысячи километров в далёкую Сибирь для выполнения примитивных сельхозработ — заслуживает отдельного обсуждения, но в те времена мы, честно говоря, не задумывались об этом — тогда «мы были молодыми и чушь прекрасную несли». Я крутил романы с несколькими девушками, но настоящая любовь обрушилась на меня в длинном поезде по пути из Ленинграда в Омск — там, по дороге в Сибирь, я неожиданно, безоглядно и безумно влюбился, забыв мгновенно и безоговорочно все свои прежние увлечения...

У неё было редкое имя Лилия, а я звал её на английский манер Лили́. Трудно описать словами любимую женщину — у слов свои возможности и свои пределы, они далеко не всегда пересекаются с тем, что дают нам зрение, слух, осязание и обоняние. Самым искусным мастерам слова не удаётся описать даже простую мелодию, слова бессильны объяснить колдовское обаяние любимой женщины... Лилия была высокой тёмной шатенкой с правильными чертами лица и большими темно-карими, почти чёрными, глазами. Говорят — черноглазые женщины обожают находиться в центре внимания

и полагают, что окружающий мир создан исключительно для исполнения их желаний. Когда Лилия направляла взгляд на предмет своих желаний, её глаза светлели и лучились, а прелестная лукавая улыбка наполнялась иронией по отношению ко всему, на что падал этот искрящийся, с лёгким прищуром взгляд.

Мне тогда казалось, что она похожа на знаменитую итальянскую киноактрису Сильвану Пампанини. В те годы Сильвана была мировым секс-символом, и после фильма Джузеппе де Сантиса «Утраченные грёзы» вырезки её фотографий из журналов висели во многих советских квартирах и молодёжных общежитиях.

До сих пор считаю Сильвану Пампанини самой красивой женщиной XX века, но здесь я, конечно, пристрастен...

Длинный пассажирский поезд, составленный из старых, ветхих плацкартных вагонов, медленно тащился с Запада на Восток по бескрайним равнинам России, среди бесконечных лесов, полей и невысоких холмов. В редких разрывах сплошной стены хвойного леса проплывали неяркие позднелетние северные пейзажи, неширокие речки и болотистые озера, поляны с одинокими берёзками на пригорке, заросшие крапивой и лопухами овраги, небольшие поля и огороды с ещё неубранными картошкой и капустой. Изредка появлялись в отдалении деревеньки, чудом пережившие все былые лихолетья. В послесталинские времена гонения на религию усилились, хотя казалось, куда уж больше, поэтому в северных старинных деревнях не осталось церквей, а кресты мы видели только на сельских погостах — советская власть оставила эту привилегию лишь для ушедших в мир иной. Мелькали унылые придорожные строения с покосившимися заборами и тощей коровёнкой во дворе, а ещё — станции, шлагбаумы и разъезды со стандартным железнодорожным хозяйством. Нас везли в объезд Москвы по бедному Северу страны: Ленинград — Волхов — Тихвин — Череповец — Вологда — Галич — Киров — Глазов — Пермь — Свердловск — Тюмень — Ишим — Омск. Называю только самые крупные пункты; на самом деле, мы останавливались почти на всех полустанках, а иногда и в чистом поле или



среди хвойного леса — наш поезд шёл вне расписания и пропускал все остальные пассажирские и товарные поезда.

Было весело... Никакого радио, никаких магнитофонов, никакой связи с внешним миром. Бренчали на гитаре, пели песни, пили водку, закусывая взятыми в дорогу крутыми яйцами, жареными цыплятами и твердокопчёной колбаской, играли в преферанс на деньги в долг — это называлось «расписать пульку», закручивали студенческие романы и, конечно, отсыпались всласть на жёстких трехэтажных полках после всех передрыг экзаменационной сессии второго курса — экзамены тогда были не чета нынешним.

Мы ехали на «освоение целинных земель» как бы по комсомольскому призыву, а на самом деле — по приказу ректората, и комсомольское начальство не очень тревожило нас своей агитацией. Руководил всей операцией высокий массивный парень с большой вихрастой головой и широкими мускулистыми плечами — инструктор райкома комсомола. Мы называли его «одноногим боссом» — у босса не было одной ноги до колена, и он передвигался на костылях. Надо было видеть, как наш босс виртуозно поднимался по лестнице в вагон без посторонней помощи, подтягиваясь за поручни сильными руками. На остановках он быстро передвигался по перрону, зорко оглядывая своё хозяйство и мощно выбрасывая перед собой костыли. Одноногий босс часто заходил и в наш вагон, но вся его агитационно-организационная работа, как правило, сводилась к весёлым шуткам на тему нашего дорожного быта — нормальный был парень.

Главным развлечением в пути были, конечно, многочисленные остановки, подчас довольно длительные. На больших станциях нас кормили в вокзальных столовках или в огромных бараках бывших пересыльных пунктов советского Гулага — суп картофельный или щи капустные, якобы мясная котлетка с макаронами, компот из сухофруктов. Местные продавали нам горячую картошечку, завёрнутую в листы из школьных тетрадей, малосольные огурчики в газетном кульке — отличная закуска под водку... Все высыпали из вагонов, таскались вдоль поезда, знакомились с соседями. Нашими ближайшими соседями по поезду были студенты педагогического института — девушки с филологического факультета и парни с факультета физкультуры. Это сочетание оставляло нам, будущим инженерам, мало шансов на близкое знакомство с будущими учительницами, ибо их жёстко опекали крепкие, рослые парни — будущие физруки. Меня, впрочем, это поначалу ничуть не беспокоило — я сам был

тогда стройным широкоплечим парнем с роскошной вьющейся шевелюрой, отнюдь не обделённым девичьим вниманием. В светлом свитере с высоким воротом и тёмных брюках, туго заправленных в кирзовые сапоги, с сигаретой в зубах, я неторопливо вышагивал по перрону, обсуждая с друзьями соседских девушек и наслаждаясь хорошей погодой и внезапно свалившимся бездельем.

Это безмятежное, расслабленное состояние души и тела сопровождало меня до остановки в городе Галич на берегу Галичского озера в Костромской области. В этом городке все во мне перевернулось мгновенно, и покой мой рухнул навсегда, как только я увидел её...

Когда мы приехали в Галич, уже вечерело, на перроне вокзала горели жёлтые фонари, и их свечение смешивалось с розовыми отблесками заката. В этом розовато-золотистом свете я увидел темноволосую высокую девушку, грациозно сходящую по ступенькам вагона, в котором ехали студентки пединститута. Она показалась мне пантерой, спускающейся с дерева. Тёмное приталенное платье, небрежно накинутая на плечи светлая шерстяная кофточка, быстрые гибкие движения, красивое подвижное лицо с искрящимися глазами в обрамлении темно-каштановых прядей. На перроне пантеру мгновенно окружила толпа высоких парней-физкультурников. Было видно, что каждый из них старается привлечь к себе её внимание, мне послышалось, что они называют девушку то ли Лилей, то ли Лелей. Стоя чуть-чуть в стороне, я слышал её смех и низкий голос, видел, как она управляет и повелевает этой мужской стихией. Окружавшие девушку поклонники что-то бурно обсуждали, я догадался — они уговаривают её спеть, и один из парней в яркой пёстрой куртке начал наигрывать на гитаре пока неясную мелодию...

Я ещё не понимал причину своего томительного волнения, ещё пытался остаться равнодушным наблюдателем происходящего, ещё цеплялся за высокую успокоительную самооценку, но... внезапно вся предшествующая жизнь показалась мне ничтожной, мелкой, бесцветной... Такого со мной никогда прежде не бывало — словно на огромной сцене, обыденно раскрытой передо мной, вдруг кто-то поднял второй занавес, и там, в глубине, открылась другая, неведомая мне жизнь, о существовании которой я даже не подозревал. В той жизни царила обаятельная стройная черноглазая девушка, и все окружавшее её было ярче и талантливее,

чем в привычном мире, там был другой, вершинный уровень интеллекта и красоты...

Сюжет, между тем, развивался стремительно, не давая мне возможности оправиться от шока, — девушка-пантера сделала пару мягких шагов вперёд, как бы раздвигая пред собой пространство для звуков музыки, и низким голосом запела под гитару пленительные «Опавшие листья» на французском языке.

Я был сломлен, покорён и порабощён...

* * *

Автор бессмертной мелодии «Опавших листьев» композитор Жозеф Косма происходил из венгерских евреев. В детстве он был музыкальным вундеркиндом, учился в музыкальных академиях Будапешта и Берлина, а в 1933 году эмигрировал в Париж. Однако вскоре фашизм настиг его и здесь — в годы Второй мировой войны он скрывался на юге Франции. В те тяжёлые времена поэт Жак Превер опекал Жозефа и помогал ему публиковать свои произведения под чужими именами. Мать и брат композитора были зверски убиты венгерскими фашистами в 1944-м, а Жозеф чудом пережил немецкую оккупацию — как будто само Провидение ограждало его от гибели, чтобы мир не остался без «Опавших листьев». Косма сочинял музыку ко многим спектаклям и кинофильмам, но его звёздный час настал в 1946 году, когда он написал музыку к фильму Марселя Карне «Ночные двери» — одна из мелодий этого фильма со словами Жака Превера и стала знаменитыми «Опавшими листьями» — «Les Feuilles Mortes»:

Oh, je voudrais tant que tu te souviennes
Des jours heureux où nous étions amis
En ce temps-là la vie était plus belle
Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle
Tu vois, je n'ai pas oublié
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle
Les souvenirs et les regrets aussi.

Et le vent du Nord les emporte
Dans la nuit froide de l'oubli
Tu vois, je n'ai pas oublié
La chanson que tu me chantais

C'est une chanson qui nous ressemble,
Toi tu m'aimais, moi je t'aimais
Nous vivions tous deux ensemble,
Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.

Mais la vie sépare ceux qui s'aiment
Tout doucement, sans faire de bruit
Et la mer efface sur le sable
Les pas des amants désunis

Рассказывают, что впервые «Опавшие листья» спела тогда ещё совсем юная, ставшая знаменитой впоследствии шансон-певица Жюльет Греко. «Опавшие листья» пела в своей неповторимой манере великая Эдит Пиаф, но всеобщую известность и мировую славу песня, безусловно, получила благодаря Иву Монтану. Авраам Ливи родился в бедной еврейской семье в маленьком тосканском городке в Италии. Мать ласкательно называла его Иво; по утрам она будила сына на языке сефардских евреев ладино словами «Иво, манатана», что означает «Иво, поднимайся» — впоследствии отсюда родился псевдоним: Ив Монтан. Семья Ливи эмигрировала во Францию по той же причине, что и Жозеф Косма — спасаясь от фашизма. Для юного Иво переезд во Францию оказался судьбоносным, здесь он стал знаменитым эстрадным певцом и киноактёром Ивом Монтаном, здесь он был вознесён на самую вершину мировой славы. Песню «Опавшие листья» Монтан включал в репертуар каждого концерта, а на вопрос — Ваша любимая песня? — неизменно отвечал — «Опавшие листья». Ив Монтан пел «Опавшие листья» более сорока лет, он исполнял эту песню незадолго до смерти, в возрасте около 70-ти, так же прекрасно, как и в 25 — может быть, чуть-чуть глуше, но с той же нежной страстью, с теми же мягко замирающими звуками «le sable», от которых сжимается сердце. Его любили знаменитые женщины XX века, назовём лишь троих — Эдит Пиаф, Симона Синьоре, Мэрилин Монро. Можно понять женщин, сражённых с первого взгляда обаянием Ива Монтана, бросавших ради него мужей и любовников, — для этого достаточно послушать его «Опавшие листья»...

* * *

«**О**павшие листья» жестоко преследовали меня на всём отрезке нашего пути от Галича до Перми. Они звучали во мне днём и ночью, терзали меня неразделённой страстной любовью к ней, сводили с ума. Долгими бессонными мутными ночами, на верх-

ней полке вагона, под назойливый стук колёс приходило ко мне отчаяние — нет у меня никакого пути к ней, нет ни малейшей надежды даже на то, что она хотя бы узнает о моей любви. Эта девушка — моя призрачная, несбыточная мечта, мелькающий поблизости романтический фантом. Она недоступна потому, что на самом деле существует отнюдь не здесь, а где-то в бесконечной дали, в недосыгаемом для меня мире за вторым занавесом. Под утро я засыпал с твёрдым намерением отказаться от бессмысленных попыток проникнуть в тот недоступный мир, отрешиться от иллюзорной мечты, отбросить это наваждение, стать самим собой... Но едва наступал рассвет я снова, как маньяк, ждал очередной остановки, чтобы увидеть её. Как маньяк, я таскался повсюду за окружавшей её компанией счастливых, на мой взгляд, поклонников. Не смея подойти близко ни к ней, ни даже к её ближнему кругу, я ощущал себя ничтожеством. Я уже знал — Лилия окончила третий курс филфака. Её окружали, как мне казалось, сильные, умные и достойные её парни, не чета мне. Я считал, что у меня нет никаких шансов, резко снизил свою самооценку, едва ли не презирал себя. Мои друзья не могли понять, с чего это я «съехал с катушек», а девушки поняли скоро, что я влюбился не на шутку, и, осудив моё предательство, неодобрительно и холодно взирали на мои переживания.

Поезд тащился на Восток, время работало против меня, отступить было невозможно — из беспросветного отчаяния вызрела во мне иступлённая решимость добиться своего...

Не помню, как долго добирались мы до города Пермь на берегу Камы в Предуралье, но там, на перроне Пермского вокзала, моё безумие стало невыносимым, а «Опавшие листья» зазвучали с болезненным надрывом. Я, как всегда, плёлся за компанией, окружавшей Лилию, одержимый навязчивой идеей добиться её любви любой ценой. Нужно взломать эту задохнувшуюся в неподвижной безысходности ситуацию, нужно что-то делать немедленно...

Случай помог мне — в одном месте пространство перрона сужалось, и я оказался рядом со всей компанией, почти рядом с нею. Нервный озноб бил меня изнутри, и вместе с ним злость поднималась против этих будущих физруков, зачем-то допущенных в её близкий круг. Внезапно один парень из этого круга — красивый блондин с кустистыми усиками над большими влажными губами, которого я тайно ненавидел, — глубокомысленно изрёк:

«Между прочим, Пермь знаменита тем, что здесь родился Афанасий Никитин и отсюда он уехал путешествовать по Индии».

Я среагировал мгновенно, как это бывает в моменты высшего нервного напряжения, и громко, чтобы она услышала, проговорил:

«Между прочим, Афанасий Никитин родился и жил не в Перми, а в Твери, а в Индию он отправился из Нижнего Новгорода».

Лилия улыбнулась и взглянула на меня с интересом. В толчее перрона мы оказались совсем рядом, мне нечего было терять, и я, в каком-то горячечном бреду, без всякого предисловия то ли прошептал, то ли прохрипел: «Выйди в полночь в тамбур по ходу поезда».

Она ничего не ответила, а лишь снова взглянула на меня, теперь уже вполне серьёзно, без своей традиционной ироничной улыбки — видимо, в моём нелепом, но отчаянно страстном призыве было что-то гипнотическое.

Так и случилось, что средневековый тверской купец Афанасий Никитин, автор знаменитого «Хождения за три моря», помог мне назначить первое свидание девушке моей мечты. Она пришла ровно в полночь, и я запомнил тот неудобный тамбур старого разболтанного плацкартного вагона на всю жизнь.

— Почему же ты так долго не подходил? — спросила она с упреком.

— Меня зовут Юрием — глупо ответил я.

— Я это знаю.

— Как знаешь?

— У меня есть друзья в вашем институте.

Рассмеявшись, она призналась, что наш одноногий комсомольский босс рассказал ей обо мне, что она уже давно заметила, как я хожу вокруг, что хотела подать мне какой-нибудь знак, но не знала, как это сделать, что Афанасий Никитин — это судьба.

Той ночью поезд шёл ровно, почти без остановок, в тамбуре было темно, нам никто не мешал. Мы ошалело целовались и торопливо говорили друг другу слова любви. Меня била дрожь от прикосновения к её телу, казавшемуся страшно далёким и совершенно недоступным ещё несколько часов тому назад. Произошло чудо, и моя, казалось бы, абсолютно неосуществимая мечта вдруг реализовалась во всей своей чувственной полноте... Вагон ровно постукивал по рельсам, словно отбивая ритм нежной и страстной мелодии «Опавших листьев»:

*C'est une chanson qui nous ressemble, Toi tu m'aimais, moi je t'aimais —
Эта песня похожа на нас, когда мы любим друг друга.*

Отблески пролетающих мимо фонарей плясали по стенам и потолку тамбура, высвечивая на мгновение её лицо с полузакрытыми глазами — тогда, в том тёмном тамбуре я нежно назвал её Лили, моя Лили...

Утро мы встретили среди светлых вершин Уральского хребта, отделившего друг от друга гигантские унылые равнины Восточной Европы и Западной Азии. Солнце выкатилось из-за гор навстречу поезду и раскрыло перед нами этот сказочный край, о немыслимых богатствах которого мы знали из школьных уроков географии и «Малахитовой шкатулки» уральского сказителя Бажова. Здесь всё было ярче, богаче, живее, чем в прежних северных краях, даже бесконечные хвойные леса теперь не утомляли своим однообразием — ели, пихты, лиственницы, уральские кедры и даже могучие сосновые боры пролетали мимо окон вагонов, а над ними вдали медленно проплывали невысокие каменистые вершины Уральских гор, а под ними, в низинах, в скалистых разломах хребтов бурлили горные речки. Сонное царство малонаселённых пространств осталось позади, а здесь повсюду — на дорогах, в посёлках и городах, в каменных карьерах и рудниках, на подъездах к заводам и электростанциям, дымные трубы которых виднелись вдали, — всё энергично двигалось, перемещалось, работало...

Помню хорошо тот солнечный день: наш поезд прибывает на станцию Первоуральск в нескольких десятках километров от столицы Урала города Свердловска (Екатеринбурга) — поблизости, по перевалу у горы Берёзовая проходит граница между Европой и Азией. Все высыпали на перрон, чтобы постоять на границе между двумя великими континентами, размяться и погреться на солнышке. Лили у своего вагона, как всегда, окружена компанией поклонников. Ещё вчера я мечтал быть среди них, но после ночного свидания мне решительно не хотелось этого. Почтительное отношение к этим парням быстро улетучилось — меня раздражало их назойливое топтание вокруг Лили. В этом раздражении слились и зависть, и ревность, а теперь ещё и презрение к неудачливым соперникам, ведь любовь к женщине — собственническое, эгоистическое чувство. Впрочем, я отнюдь не ощущал себя победителем — напротив, меня одолевало неверие в подлинность происходящего за вторым занавесом, мне требовалось какое-то дополнительное подтверждение

того, что всё случившееся не есть фантастическое наваждение, что ночь в тамбуре не была случайным эпизодом... Правда ли то, что она мне шептала в том тёмном тамбуре? Можно ли верить мерцающим звёздам? Чуткая звезда, очевидно, поняла моё состояние и немедленно, тут же на вокзальном перроне, на границе между Европой и Азией я получил желанное подтверждение, оставшееся со мною на всю жизнь.

А случилось вот что — компания снова просила Лилию петь, она сначала заупрямилась, но потом сказала что-то тихо гитаристу в пёстрой куртке, улыбнулась лукаво, кошачьим движением поправила волосы, сверкнула глазами в мою сторону и запела: «Oh, lullaby of birdland». Это была песня о любви, знаменитая джазовая пьеса «Колыбельная птичьего острова», и я понял — Лили поёт для меня, и это её ответ на мои невысказанные вопросы и сомнения...

* * *

История создания «Колыбельной птичьего острова» удивительна. Этот признанный шедевр классической джазовой музыки был написан слепым пианистом-виртуозом Джорджем Ширингом однажды поздним вечером 1952 года в его доме поблизости от Гудзона. Жена Джорджа вспоминала, что он в тот вечер был молчалив, но внезапно резко встал из-за обеденного стола, оставив недоеденным свой любимый бифштекс, и, вытянув руки перед собой, буквально бросился к фортепиано — через 10 минут пьеса была полностью готова. В это десятиминутное гениальное озарение композитор вложил всё очарование джаза, накопленное им годами. Джордж Ширинг родился в Лондоне в бедной английской семье. Он учился в школе для слепых, увлекался джазом и уже в 18 лет стал одним из лучших джазовых пианистов Англии. Когда Джорджа позднее спрашивали, как он стал музыкантом, он шутивно отвечал, что в предыдущей жизни был собакой — поводырём слепого Иоганна Себастьяна Баха. В 1947 году Джордж эмигрировал в США, где попал в самый кратер нью-йоркского джазового вулкана. «Колыбельную птичьего острова» со словами поэта Джорджа Дэвида Вейса он посвятил великому альт-саксофонисту Чарли «Бёрду» Паркеру, ибо Птичий остров — Бёрдлэнд — был, на самом деле, нью-йоркским ночным джазовым клубом, названным так в честь Бёрда Паркера. «Колыбельную птичьего острова» исполняло несчётное множество джазовых оркестров, выдающихся инструменталистов и певцов, среди них — Элла Фицджеральд и Сара Воган.

Oh, lullaby of birdland
 That's what I always hear,
 When you sigh.
 Never in my wordland
 Could there be ways to reveal
 In a phrase how I feel.
 Have you ever heard two turtle doves,
 Bill and coo, when they love?
 That's the kind of magic music we make with our lips,
 When we kiss.
 And there's a weepy old willow
 He really knows how to cry,
 That's how I'd cry in my pillow
 If you should tell me farewell and good bye.
 Lullaby of birdland whisper low,
 Kiss me sweet, and we'll go
 Flying high in birdland, high in the sky up above
 All because we're in love.

Уже более полувека люди очарованы этой чудной мелодией, рвущейся в небо вместе с молодой любовью и буквально искрящейся радужным светом, которого автор никогда не видел. В ней гармонично все, начиная с этого невыразимо прелестного вздоха — «Oh, lullaby of birdland» — и кончая сладостно простым признанием — «All because we're in love».

* * *

Наш поезд пересёк Уральские горы и помчался по равнинам Западной Сибири, распевая «Oh, lullaby of birdland». Эта джазовая пьеса, спетая Лили́ для меня, молнией распространилась по всему эшелону, её текст переписывали и передавали дальше, его наигрывали и напевали во всех вагонах. Наши ночные свидания в тамбуре продолжались. Я шептал ей: «*Lullaby of birdland whisper low, kiss me sweet, and we'll go...*». Она тихо продолжала: «*flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love*». Однажды нас застучал одноногий комсомольский босс. Он внезапно появился в тамбуре, гремя своими костылями, навёл на нас фонарик, философски констатировал — Любовь! — и пошёл дальше, виртуозно преодолевая на костылях переход в следующий вагон.

ДЕЛО ШЕСТНАДЦАТИ

Документальная повесть
с песнями и стихами Владимира Селянинова

Место действия: Советский Союз,
г. Старая Русса — г. Ленинград
Время действия: 1981–1982

Предуведомление

В 2021 году исполняется 40 лет со дня знаменитого дела группы шабашников из Ленинградского электротехнического института связи им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, вошедшего в историю как «Дело шестнадцати». Уже сорок лет прошло с тех времён — уму непостижимо... Многие участники дела, как со стороны гонимых, так и со стороны гонителей, увы, уже ушли в мир иной. Светлая память первым и земля пусть будет пухом вторым — они жили и работали вместе в мракобесное время под колпаком одного и того же режима, они были обречены на то, что случилось и с теми, и с другими...

Подлинный автор прилагаемой ниже документальной повести «Дело шестнадцати» не опознан. Достоверно установлен лишь автор включённых в повесть стихов — это известный питерский поэт и бард Владимир Селянинов. Многие из его стихов являются, на самом деле, песнями, которые и сам автор, и его друзья неоднократно исполняли по радио, на шабашках и, конечно, во время многочисленных застолий. Стихи-песни сильно проигрывают без музыки, но и в таком виде замечательно сопровождают лирическую линию повести.

В оригинальном издании повести «Дело шестнадцати», написанной ещё в Ленинграде в 1987 году, а выпущенной в свет уже в Санкт-Петербурге в 2002-м, на титульном листе автором указан Юрий Пёрч. К сожалению, все попытки найти такого человека успеха не имели, и, в конце концов, было признано, что, по-видимому, данное имя является псевдонимом коллектива



авторов, включающего всех подлинных персонажей повести, проходивших по «Делу».

При подготовке старой, чудом сохранившейся рукописи к новой публикации автор-составитель настоящего сборника поначалу заменил ряд имён и фамилий подходящими аббревиатурами, ибо ему показалось, что прошло ещё не так уж много времени, чтобы события этой повести стали для потомков давней историей, которая воистину была, но в которую трудно поверить...

Однако подлинные герои повести, заглянув в свой паспорт, решительно воспротивились такому методу завуалированного сокрытия истины, равно как и любым попыткам навешивания фиговых листков на срамные места...

Итак, авторами-составителями этой повести являются в той или иной степени все участники описываемых событий, ибо наша повесть — это то, что они делали, чувствовали, думали и, в конце концов, то, что они вспомнили...

Однако если кто-либо попытается найти среди них одного-единственного автора, чтобы возложить исключительно на него ответственность за изречённое, то он повторит ошибку прошлого и подтвердит известную истину о том, что история учит лишь тому, что она ничему не учит. Ибо искать среди участников «Дела шестнадцати» одного-единственного автора повести о «Деле» — это значит «Дело» повторить!

Исторический фон

Учили нас не понимать,
А принимать на веру.
Учили нас маршировать,
Скандируя химеру.
Учили признавать врагов
В невинно убиенных
И жить в пространстве дураков,
Во времени смиренных.
Прогулка — строй,
А строй — парад,
Сплошная паранойя:
В цепях наград
Над всеми кат,
Над всеми и над Строем.

Эта повесть — строго документальная, ибо в ней описаны подлинные события, приведены подлинные документы, названы подлинные имена и абсолютно отсутствует какое-либо враньё под видом литературы.

Русское слово «подлинный» исконно означает высокую степень правды, полученной путём битья кнутом «по длине», т. е. вдоль тела. Выше такой правды бывает только «вся подноготная», полученная путём вбивания иголок под ногти.

Авторов-составителей пытали нравственно достаточно изощрённо, чтобы усомниться в правдивости этого рассказа.

Документальная правдивость ограничивает авторов рамками одного конкретного случая и не позволяет делать слишком широкие обобщения. Поэтому представляется совершенно необходимым предварить собственно повесть хотя бы чрезвычайно кратким опи-

санием исторического фона, чтобы не повествовать внеисторически и не отвлекаться всё время на поиски типичного в повествуемом.

Итак, дело происходит в 1981 году, главным образом, в Ленинграде. К тому благословенному времени нашим могущественным государством в одну шестую всей земной тверди уже семнадцатый год благополучно правил некто Леонид Брежнев — личность довольно посредственная, если сопоставлять её с тем высоким местом, которое она, эта личность, вопреки пословице, не красила. К сожалению, в истории такое часто бывает: ведь шапка Мономаха, что прыщ гнойный, — иногда на таком месте вскочит, что стыдно показать.

Главной страстью правителя были звания, почести и награды. К описываемому времени он был Генеральным секретарём всей Коммунистической партии всего Советского Союза, Президентом государства и Главнокомандующим вооружённых сил. Правитель присвоил себе воинское звание Маршала с повешением на шею маршальской звезды в бриллиантах, да к тому же пять раз (!) удостоил самого себя званием Героя с украшением груди пятью золотыми звёздами — беспрецедентный случай в отечественной истории, которая такого героя ещё не ведала. Официальный тщательно отретушированный цветной фотопортрет вождя в маршальском мундире со всеми орденами, густо заполнявшими огромное пространство от кадыка до причинного места, поражал воображение обывателя. Впрочем, мундир этот из-за тяжести носимым быть не мог, тем более что, на самом деле, правитель был рано впавшим в маразм стариком, который не попадал в дверь, плохо врубался в тему разговора и мог выговаривать только самые простые одно- или двусложные слова. Его можно было бы по-человечески пожалеть, если бы это был простой пенсионер. Но он, не зная меры, не ведая, что стал посмешищем, говорил о сложном, и народ должен был догадываться, что «сиськи-масиськи» — это значит «систематически», а «сосиски сраные» — это «социалистические страны». А что он делал со словом «азербайджанский», это нужно было слышать! И все — от школьника до академика — должны были изучать и восхвалять литературные произведения Выдающегося Деятеля, которые, как все понимали, писал не он, а кто-то из членов Союза советских писателей, тоже, кстати, бездарь.

Располагавшаяся вблизи правителя элита и следующие за ней эшелоны номенклатуры безудержной лестью, ирреальным подхалимажем в сочетании с самой беспардонной ложью ограждали

свои незыблемые права — деликатесно кушать из спецраспределителей, импортно одеваться в спецмагазинах за спецгосзнаки, лечиться в спецбольницах, отдыхать в спецсанаториях, на госдачах, виллах — всё за государственный, т. е. народный счёт. В Москве правила торгово-партийно-полицейская мафия, в которую входили директор Мосторга со всей своей клиентурой, горком партии со своим огромным аппаратом и сам всесильный министр внутренних дел — генерал и член ЦК КПСС. Последний, кроме того, при торговывал антиквариатом, конфискованным у осуждённых им более мелких, чем он, спекулянтов. Дочь Выдающегося Деятеля вместе с приятелями и мужем, которого добрый папочка произвёл из простых охранников в генералы КГБ, увлекалась валютой и бриллиантами.

Гниль коррупции, взяточничества и блата покрыла страну «от Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей». В российских городах исчезли мясо, рыба, колбаса, сыр, масло, а книг уже не было давно.

И всё это вместе взятое называлось «развитым социализмом», или ещё круче — «реальным социализмом», словно в насмешку над великой идеей.

И ещё одно...

Заработать на службе чуть побольше смехотворно низкой зарплаты честным, легальным трудом было очень трудно, почти невозможно. Зато сравнительно легко было украсть, особенно тем, кто стоял при власти, при дефицитных товарах или услугах, кто был где-то каким-то образом приблатнён. Поэтому в те времена не верили в заработок, добытый трудом, хотя бы и каторжно тяжёлым. По-видимому, без этого фатального пренебрежения и неуважения к труду и заработку, от труда идущего, без этого неверия в чьё-либо усердие в труде при том, что украсть легче, — без всего этого не было бы нашей истории.

И ещё одно...

Серость господствовала во всём и везде, серость насаждалась принудительно в производстве, в науке и в искусстве. Талантливый, яркий человек не мог рассчитывать на благоволение властей. Железнодорожный лозунг «не высовываться» стал принципом жизни. В то серое двадцатилетие впервые в истории появились «учёные» и «профессора» без научных открытий и даже без научных трудов. Этого не требовалось. По-видимому, без этих заливших страну потоков серости и без тех неожиданных возможностей, которые

открылись для людей, не располагавших никакими талантами, не было бы этой истории.

И, наконец, последнее...

В основе вышеназванных явлений застоя и деградации была бредовая идея Выдающегося Деятеля о тотальном партийном контроле всех сфер человеческой деятельности... Без парткома, райкома, горкома и прочих нельзя было решить ни один производственный, хозяйственный, научный и даже морально-бытовой вопрос. Без этого тотального мракобесия не было бы этой истории, впрочем, как и многих других трагедий нашей страны!

Итак, вперёд — правда, одна только правда и ничего, кроме правды!

Мы с вами боремся не за, а против.

Сражаемся себе наперекор.

Расходимся, слова-перчатки бросив,

И сходимся в дуэльный разговор.

К барьеру!

Секунданты нам излишни.

К барьеру!

Револьверы не нужны.

Слова заряжены.

Благословил Всевышний.

К барьеру!

Да продлится ваша жизнь!

Скотопригоньевск

Не желаю быть святым,
Не желаю быть святым,
Пастор для души моей не нужен —
Лишь бы ты в осенний дым,
Лишь бы ты в осенний дым
Шлёпала со мной по хладным лужам.

Воскресенье 26 июля 1981 года в небольшом русском городке Старая Русса, что в Новгородской губернии, было солнечно, тепло, но не жарко. И в тот день в городке происходили странные события.

Странности начали происходить утром в недавно построенном здании АТС, что расшифровывается как автоматическая телефонная станция. Собственно, АТС ещё не было, но пустое здание уже было, и в одной из больших комнат этого здания первые солнечные лучи осветили странную компанию, которая здесь ночевала и, видно по всему, уже давно жила. Двенадцать мужчин спали на поставленных почти вплотную друг к другу металлических кроватях. В комнате ещё были тумбочки и два заваленных всевозможным барахлом стола; между кроватями и под ними лежали раскрытые рюкзаки и чемоданы. В целом было грязновато...

Вставший первым, по-видимому, на правах дежурного включил магнитофон с модной западной эстрадной вещицей и очень зычным низким голосом предложил остальным подниматься. Проснувшиеся посылали его однообразно, однако начали вставать. Но ещё прежде, чем все встали, дежурный — назовём его так — обнёс всех бутылкой водки, из которой налил каждому по четверть стакана, т. е. как бы подал завтрак в постель. При этом закуской служил огурец — один на всех. В процессе обноса и употребления шёл спор о том, кому раньше, хотя ясно было, что хватит всем. Спор был шуточный, но острый, причём все крепко ругали обносившего, который добродушно огрызался.

Возможное предположение, что в АТС собрались алкоголики, дабы опохмелиться, было бы, однако, отброшено немедленно даже самым недоброжелательным наблюдателем.

Разговор, между тем, шёл о праздновании Дня военно-морского флота, и те из двенадцати, кто мог предложить какие-либо доказательства своей причастности к морю, например тельняшку, имели преимущественное право выпить свою долю первыми.

Возможное предположение, что в АТС живут переодетые матросы или морские офицеры, было бы отброшено наблюдательным человеком тотчас, ибо ничего военного в этих людях не просматривалось, да и ни их внешность, ни обстановка с этим предположением не вязались.

Дежурный называл остальных «товарищи отдыхающие», и тема «отдыха» в явно ироническом смысле непрерывно перекачивалась от одного к другому.

Возможное предположение, что в АТС действительно собрались курортники или туристы, не проходило по многим признакам, включая одежду и инвентарь, не похожие на спортивные. «Отдыхающие» явно жили здесь уже не одну неделю, но вряд ли в такой обстановке кому-либо захотелось бы отдыхать.

Время в моё окно
 Падает белым,
 Зелёным струится,
 Плещется синим,
 И жёлтым сочится,
 Тихо смеётся,
 Молчит,
 Громко плачет.
 Что это?
 Что это?
 Что это значит?

Между тем все двенадцать уже встали, умылись, а безбородые и побрились, и теперь одевались на выход. Они были разного возраста — примерно от тридцати до сорока пяти, все породистые и красивые, а некоторые даже очень! Здоровые, сильные, а некоторые — даже очень! Разговор их выявлял немалую степень образованности и интеллекта, у некоторых — весьма высокую степень. Вместе с тем их в целом литературная русская речь часто

городке Скотопригоньевске. Так вот быт, нравы и даже пейзажи этого вымышленного Скотопригоньевска списаны мастером со старой Старой Руссы. Несмотря на столь замечательный факт, музей посещается мало, здесь нет туристического бума и не проливаются слёзы умиления, как в Михайловском или в Ясной Поляне.

Поэтому появление сразу двенадцати зрелых мужчин вызвало некоторое оживление, и сама директриса повела их на экскурсию по дому. Она была немало удивлена познаниями этих двенадцати в близкой ей области, чувствованием ими некоторых тонкостей творчества Достоевского, требующих, как ей казалось, специальной подготовки... На некоторые вопросы — как, например: не следует ли считать, что в «Бесах» автор предсказал кошмары сталинизма? — вынуждена была отвечать уклончиво. Впрочем, экскурсия прошла превосходно и к взаимному удовольствию сторон.

Прежде чем попрощаться и ответить на выраженные самым интеллигентным образом знаки благодарности, директриса поинтересовалась, чем же уважаемые экскурсанты занимаются и как попали в Старую Руссу. На это наша компания ответила вежливо, что они археологи из Ленинграда и приехали сюда на раскопки. А на уточняющий вопрос о том, что же они раскапывают, ответ был таким же уклончивым, как у директрисы о провидении Достоевским сталинизма, причём в таком странном смысле, что, мол, сначала нужно раскопать, а потом будет видно что.

На этом можно было бы прервать нашу историю, если бы рассказанное в доме Достоевского компанией о роде её занятий было правдой, потому что, если бы это было правдой, то не было бы последующих событий и дела.

В круговерти суеты
 Бог к моим молитвам глух.
 Сам себе пастух беды,
 Счастья своего пастух.
 И пасутся бок о бок
 Моя правда, моя ложь,
 Словно перепутал бог
 Души грешных и святош.

На следующий день, в понедельник, музей был закрыт, и директриса на работу не выходила. Во вторник она шла на службу рано и на улице Карла Маркса обратила внимание на длинную узкую траншею,

тянувшуюся вдоль тротуара насколько хватало взгляда — в воскресенье этой траншеи ещё не было. Тут директриса вспомнила слова соседней о том, что за последние две недели город весь разрыли так, что пройти невозможно. В траншее работали мужчины, работали, как видно, уже давно, хотя час был ещё ранний. Лопатами и ломом они углубляли траншею и выравнивали её дно. По пояс голые, в рабочих штанах и кирзовых сапогах, залепленных грязью, работали быстро, на глаз непривычно быстро, как бы ожесточённо — видимо, спешили.

И вдруг в выполнявших такую чёрную работу директриса узнала воскресных интеллигентов, споривших с нею о Достоевском и назвавшихся археологами. Сначала было движение души — подойти, поздороваться (ведь как прекрасно в воскресенье беседовали!), задать вопрос: «Что делаете здесь, товарищи?». Но что-то остановило... Прежде всего дистанция между тем воскресным и теперешним. А ещё: она-то в прежнем виде, а эти — там в яме, в грязи. А из ямы — непечатные сведения о производственных трудностях! И не подошла, а быстро пошла стороной прочь, унося вопросы без ответа и даже какую-то болезненную горечь. «Наврали про археологию, а сами чернорабочие, может быть, заключённые, — думала она. — Но тогда где охрана? И, кроме того, заключённые в музее?! Странно всё это».

Удивлялась не только директриса музея. Не переставали удивляться многие жители Старой Руссы. Уже скоро месяц, как видели они во всех концах городка нашу компанию — то всех вместе, то небольшими бригадами по два-три человека. Видели с раннего утра до позднего вечера за самой грязной и тяжёлой работой — рытьём траншей и ям, укладкой труб, видели их землекопами, грузчиками, укладчиками и чернорабочими. Эти странные люди работали без выходных (за исключением описанного выше Дня военно-морского флота), работали явно больше положенной восьмичасовой смены, часов по двенадцать и больше в сутки, работали в совершенно немыслимом для «реального социализма» 70-х годов темпе, а ещё более удивительно — работали с интересом (к этому-то грязному делу!), не пытаясь отлынивать, перекуривать, пьянствовать или ждать от кого-то указаний...

Многие местные из любопытства подходили и спрашивали: что, мол, делаете, откуда сами (что не местные — сразу видно!), а главное, сколько за такую работу платят. На последний вопрос наши отвечали уклончиво, мол, идите работать в бригаду — узнаете сколько платят. Никто, между прочим, не шёл, так как работа была,

всякому видно, тяжёлая и грязная, а деньги... — зачем они старорусскому обывателю или, например, гегемону, находящемуся в состоянии беспробудного пьянства или в предвкушении оногo! На вопрос «откуда сами-то?» — отвечали кратко, что ленинградцы. А вот на вопрос о том, что делают здесь, не скупилась на подробности.

В Старой Руссе плохо с телефонами, и наши герои готовили магистрали для прокладки новых телефонных кабелей. Работа эта заключалась в следующем.

Вдоль основных улиц города сначала нужно было вырыть траншеи для укладки кабеля. Траншея должна быть глубиной один метр и более, а шириной — чтобы в ней можно было стоять и работать, да ещё чтобы по крайней мере два трубопровода на дне этому не мешали. Дно траншеи должно быть ровным, чтобы труба для кабеля лежала всей поверхностью без перегибов.

Рытьё траншеи — дело тяжёлое и невесёлое, особенно если улицы заасфальтированы или, не дай бог, забетонированы. Сначала вскрывается асфальт или, ещё хуже, бетон — его нужно бить и колоть отбойным молотком или ломом, а выбитые куски оттягивать в сторону. Затем, если грунт под асфальтом не очень каменистый, можно использовать машину — траншеекопатель, режущая цепь которой взрезает землю и выбрасывает её в сторону. Ну а там, где машина не проходит и сталь не берёт, траншею надо вручную выбивать ломом и штыковой лопатой.

Вырытую любым из этих способов траншею нужно углублять штыковой и ровнять совковой лопатами. В местах, где кабели будут протягиваться через трубы и срашиваться, ямы нужны побольше — для кабельного колодца.

Копать траншеи и ямы под колодцы особенно трудно в дождь — на дне собирается вода, хлюпает грязь, стенки расползаются. Ещё неприятно, когда с канализацией пересечёшься — тогда уже буквально приходится работать в говне. А ещё при прокладке траншеи нужно следить, чтобы не повредить подземный электрокабель или, уж совсем не дай бог, кабель спецсвязи. Бьёшь ломом, рубишь лопатой, а чуть появится подозрительный проводок, землю вокруг руками отгребашь.

Наконец траншея вырыта и прилизана — можно класть трубы. Асбестоцементные трубы длиной три метра нужно на складе погрузить в грузовик, а затем на месте укладки разгрузить и разложить ровненько вдоль траншеи, чтобы, находясь в ней, доставать их было сподручно. Грузить и раскладывать трубы уже веселее: двое

в машине принимают или подают трубы, а остальные быстро бегают и носят их в руках или на плече.

Но ещё веселее трубы в траншею укладывать. Делает это бригада из двух человек. Первый из них на дне траншеи зажимает свободный конец уложенной трубы между колен, придерживая одной рукой. Затем другой рукой достаёт манжету — пластиковый цилиндр диаметром трубы — и обеими руками с силой натягивает её на трубу. Второй из укладчиков в это время снимает в траншею новую трубу, подаёт её конец первому, тот приставляет этот конец к разрыву манжеты, уже надетой на зажатую между колен трубу, а затем оба сильно вдавливают новую трубу в манжету — хоп!

Манжета жёсткая, натянуть её на трубу — кожу с рук обдерёшь. Поэтому лучше сначала манжету в горячую воду опустить — но тогда нужно с собой ведро с горячей водой таскать. Зато процесс идёт быстро: мелькнула над траншеей одна грязная спина — манжета на трубе, мелькнула другая грязная спина — труба в манжете. И обе спины переместились на три метра. Ещё мелькнули по разу — и ещё три метра.

Быстро идёт работа, одна труба — десять секунд! Не то, что рытьё траншеи, да ещё в каменистом грунте ломом, да двумя лопатами — там пока метр пробьёшь, дыханье сорвёшь, и пот глаза зальёт!

Хотя, если вникнуть, и укладка труб — не санаторий: спина болит, руки дрожат от постоянного напряжения, пальцы не разогнуть, колени не согнуть. Особенно, когда в траншею не один, а два, четыре, а то и все восемь трубопроводов уложить надо. Сначала вдоль всего участка от колодца до колодца на дно траншеи укладывают два трубопровода (одновременно укладывать все нельзя — из-за верхних труб не поднимешь для наращивания нижние), затем на них параллельно ещё два и т. д. А стоять в яме, между тем, все труднее — уложенные трубы мешают.

Когда трубы уложены и концы трубопровода выведены в колодцы, можно засыпать траншею. Эта работа лёгкая и весёлая, делается она всей командой, а потому особенно весело под вечер, когда все уже, поработав часов 12–13, слегка устали, и пора пойти отдохнуть и чаю попить, потому что ужин был уже давно.

Да, да! Пора пойти помыться, переодеться, выпить по полстакана водки и крепкого чая с пряником, расслабить спину, руки и ноги хоть на полчаса, а потом ещё успеть на танцы в местном дамском санатории на радость отдыхающим, отчаянно мятущимся между словесными увещеваниями провинциальных докторов и властно-

нежными прикосновениями мужских ладоней, ещё полтора часа назад сжимавших здоровенные ломы.

Одни сутки взапой,
 Одни сутки взахлёб.
 Одни сутки — как миг,
 Но миг звёздный.
 Всё, что было, прошло.
 То, что будет, пройдёт.
 Дай же бог,
 Чтобы было не поздно!

Я сейчас ненавижу себя,
 Проклинаю свою человечность.
 Как так можно уехать, любя,
 Разменяв одни сутки на вечность.
 Для тебя ничего мне не жаль
 Из всего, что могу, что имею.
 Мне любовь, словно звёздный корабль,
 Покидающий грешную Землю.
 Прежде чем отзвонит, отгорит
 И положат к звезде незабудки,
 Подари мне любовь, подари
 На прощанье последние сутки.

Между тем старорусские обыватели, с утра ворчавшие, что, мол, улицу раскопали — теперь полгода ни пройти ни проехать, к вечеру с удивлением замечали, что всё уже засыпано, и трубы, которые они, умом сноровистым пораскинув, собирались ночью во двор затащить для нужд хозяйственных, уже в землю уложены, и скоммуниздить их, к их вороватому сожалению, не представится возможным. Такого «трудового накала», как говорят наши сладкоречивые журналисты, староруссичи не видали от периода «полной и окончательной победы социализма», произошедшей в благополучное царствование великого вождя, отца и учителя всех времён и народов, до периода «развитого социализма», постепенно перешедшего в описанный выше «реальный социализм» в благословенные времена выдающегося деятеля всего прогрессивного человечества.

Если читатель когда-либо окажется в городе Старая Русса и пройдёт по улицам Минеральной, Карла Маркса, Красных

командиров и прочим, пусть знает, что под ними на всём протяжении лежат трубопроводы связи, сработанные в июле-августе 1981 года странной бригадой из двенадцати ленинградцев.

Проницательный читатель, наглотавшийся в своё время «реального социализма», давно уже понял, кто эти двенадцать и как их называть.

Так кто же они?

Они берут гитару, и старорусские красавицы, так толком и не понявшие, кто же это был и как же это случилось, замирают и растворяются в незнакомых звуках и диковинных словах, тревожно влекущих куда-то:

Не желаю быть святым,
Не желаю быть святым,
Пастор для души моей не нужен —
Лишь бы ты в осенний дым,
Лишь бы ты в осенний дым
Шлёпала со мной по хладным лужам.

Ты мой звёздный миг,
Ты мой добрый маг,
Журавлиный клин,
Лебедей косяк —
Лебедей косяк,
Что в вечерний час
В небо поднялся
И с зарёй погас.

Я любовь молю:
Дай мне согрешить.
Если я люблю,
Мне святым не жить,
Проще сразу в ад...
Над землёй кружит
Поздний листопад.

Не желаю быть святым,
Не желаю быть святым,
Пастор для души моей не нужен —
Лишь бы ты в осенний дым,
Лишь бы ты в осенний дым
Шлёпала со мной по хладным лужам.



ЮРИЙ ОКУНЕВ — писатель, ученый в области теоретической радиотехники, автор научных монографий, книг историко-публицистического жанра и художественной прозы на русском и английском языках.



«Кенотаф» — многомерная, панорамная повесть о судьбе подвергшихся репрессиям советских людей в двадцатилетие 1936–1954 годов. Художественная канва повести сопровождается размышлениями из более поздних времен, когда понимание и оценка чудовищной сути событий прошлого стали вполне ясными и однозначными. По охвату событий и эмоциональному накалу произведение сравнимо с известными романами Василия Аксенова из трилогии «Московская сага».

Виталий Друкер, профессор математики

Ваша повесть «Мелодии юности» произвела на меня большое впечатление. Настоящая литература, написанная языком русской классической психологической прозы. Вы расщепили свою собственную творческую суть на две части и наделили ими вымышленных персонажей, образы которых прекрасно выписаны и проработаны. Получилась щемящая душу лирическая новелла, повествующая о нашей молодости и о некоторых её музыкальных символах. Если вы доверите мне исполнение этой превосходной вещи, то я сочту это как высокую честь для себя.

**Илья Граковский, мастер художественного слова,
литературовед**

«Дело шестнадцати» — много было чего! Друзья, для которых это было дико, и женщины, которым это было интересно. Шептуны, которым мы были непонятны, и просто завистники, что им не дано такое. Умные, добрые люди и дерьмо — факультетские подпевалы. Много было всякого!

Владимир Селянинов, поэт, бард



ISBN 978-1-950319-48-0



9 781950 319480